

СТРАНЫ И НАРОДЫ ВОСТОКА

Вып. XXVI

СРЕДНЯЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
(География, этнография, история)

К н и г а 3

Москва
Главная редакция восточной литературы
1989

Ю. Л. Кроль

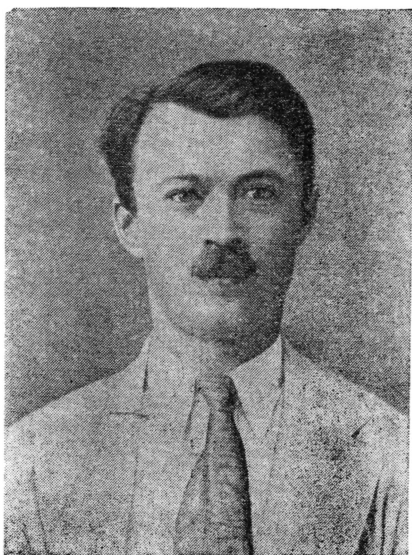
БОРИС ИВАНОВИЧ ПАНКРАТОВ
(зарисовка к портрету учителя)

Эта статья написана на основе доклада о жизни и научной деятельности Бориса Ивановича Панкратова (1892—1979), прочитанного 12 марта 1980 г. на заседании Восточной комиссии Географического общества СССР, которое было посвящено его памяти.

В тот день Борису Ивановичу исполнилось бы 88 лет. Впервые мы, его ученики и коллеги, собрались в день его рождения без него, чтобы с благодарностью вспомнить о нем, почтить его память. Для этого у нас были особые причины. Во-первых, Борис Иванович был нашей славой, он пользовался всемирным признанием и авторитетом среди китаистов, монголистов, тибетологов и маньчжуристов Европы и Азии, Америки и Австралии. Его юбилеи превращались в триумф нашей науки. Им восхищались выдающиеся востоковеды П. Пеллио и П. Демьевиль, Ф. Веллер и А. Мостарт, Д. Боддэ и О. Латтимор, Дамдинсурэн и многие другие. В свое время крупнейший китаевед нашей страны В. М. Алексеев писал о «комплексе его знаний, которому каждый из нас, имеющих ученые степени китаистов, может только позавидовать», а выдающийся исследователь древнего Востока В. В. Струве убежденно считал его академиком. Он любил сравнивать Бориса Ивановича с одним немецким ученым¹, который был избран в академики, хотя напечатал в своей жизни едва полсотни страниц, такую великую службу он сослужил науке.

Тут уместно сказать о второй причине. Борис Иванович с необыкновенной щедростью делился необозримым богатством своего знания, уча одних, консультируя других, подчас решая за них наиболее сложные задачи, связанные с их работой, и выступая незримым соавтором и редактором их статей и книг. В свое время на Ученом совете Института востоковедения АН СССР, который 26 ноября 1948 г. присудил Борису Ивановичу ученую степень кандидата филологических наук без защиты диссертации, прямо говорилось, что большинство диссертаций, которые прошли в нашей среде по специальности дальневосточной литературы и истории, могли быть написаны только при деятельной помощи со стороны Бориса Ивановича.

И действительно, ему было свойственно редкое умение относиться к чужой работе как к своей. Уж на что превратилась у нас в формальность функция ответственного редактора, а Борис Иванович выполнял ее так, что она вновь обретала смысл. «Если на книге стоит ваше имя, — говорил он мне, — вы отвечаете в ней за все». И до бесконечности поправлял или даже переправлял чужие переводы, выверял факты, определял с трудом поддающиеся определению монгольские и маньчжурские ксилографы и рукописи. Когда ему в течение некоторого времени довелось редактировать тибетско-русско-английский словарь его покойного дру-



Б. И. Панкратов. Фотография конца 10-х — начала 20-х годов, из семейного архива (любезно предоставлена внуком И. Е. Панкратовым)

га Ю. Н. Рериха, и тут он бился над тем, чтобы уточнить значение каждого трудного термина, найти для него английский и русский эквиваленты. По его мнению, Рерих составлял этот словарь, «сидя в седле»; отсюда и необходимость в уточнениях. Когда же я указал Борису Ивановичу, что едва ли он обязан делать это, да еще мучиться в поисках точных русских эквивалентов, не довольствуясь описательным переводом, глаза учителя сверкнули: «Если вы редактор, то должны», — сказал он не терпящим возражения тоном. Так даже редакторская работа в его исполнении превращалась в соавторскую.

Борис Иванович знал то, чего не знал никто, и десятилетиями являлся высшим и безотказным экспертом по Дальнему Востоку для всех нуждавшихся в нем советских, а подчас и заезжих иностранных ученых. В особенно выгодном положении были живущие в одном городе с ним. Поэтому прав был ленинградский китаевед В. В. Петров, сказавший: «Когда Борис Иванович умер, у меня было ощущение, что позади рухнула стена». Такое ощущение было не у него одного: для многих из нас Борис Иванович был тем незаменимым человеком, на чей совет и помощь можно было рассчитывать в трудных случаях. Благодаря его щедрости в нашей памяти, в наших работах, где больше, где меньше, сохранились частицы его личности, его таланта, его знаний.

Эта щедрость сочеталась в его характере со странной любовью к публикации собственных работ, с полным отсутстви-

ем честолюбия в этом отношении. Во всяком случае, так было в послевоенные годы, когда я его знал, а до того печататься ему мешали не зависящие от него обстоятельства. Думается, этот старый ученый в каждой своей работе искал совершенства, но не находил, а потом терял к ней интерес и переходил к следующей. И потому предпочитал делиться знаниями в устной форме, мягко, но твердо отказываясь публиковать свои блестящие доклады, с которыми выступал, даже тогда, когда ему было уже далеко за восемьдесят.

Итак, излюбленной Борисом Ивановичем формой передачи научной информации было личное общение. Здесь со всей яркостью раскрывалась его незаурядная личность. Именно об этой личности мне и хочется рассказать, описать Бориса Ивановича таким, каким я узнавал его из года в год, сначала учась у него, затем навещая его — обычно раз в неделю — и ежедневно беседуя с ним по телефону. Речь здесь пойдет о том, что по большей части остается за рамками «официальной» биографии. Основным источником для меня является не архивное дело с его анкетой, автобиографией и другими документами, хотя заглядывал я и туда, а еще свежая память о живом человеке, о его речах и делах, о том, что я слышал о нем от его близких, да кое-какие личные заметки, сделанные с его слов.

Как известно, память — вещь небезотказная, и меня могут упрекнуть в том, что я смыкаюсь с рассказчиками «легенд о Панкратове», какие встречались в Институте востоковедения АН СССР с середины 30-х годов, когда Борис Иванович поступил туда на работу. Хочется заранее отвести этот упрек. Я пишу о том, что видел или слышал от него самого и от заслуживающих доверия лиц. Но если бы даже несовершенство моей или чужой памяти привело к тому, что в этот рассказ вкрались бы отдельные мелкие фактические погрешности, на это стоит пойти, чтобы написать сколько-нибудь верный портрет Бориса Ивановича. Ибо в данном случае главное состоит не в правде отдельного факта (как ни важна она сама по себе и как ни ценил ее Борис Иванович), а в правде целого.

Увы, сам учитель не облегчил работу своему биографу. Его дежурными фразами были: «Пока я жив, я хозяин своей биографии» и «Мемуаров (или архива) я оставлять не собираюсь». Мне рассказывали, что вместо ответа на чей-то вопрос, пишет ли Борис Иванович воспоминания, он с улыбкой снял с полки и положил перед собеседником хорошо переплетенную толстую тетрадь, на обложке которой была надпись «Мемуары Бориса Ивановича Панкратова», — подарок его друга поэта А. И. Гитовича. Собеседник раскрыл тетрадь и увидел перед собой чистые листы.

Начну свой рассказ о Борисе Ивановиче с начала.

Встретился я с ним, будучи студентом второго или третьего курса Восточного факультета Ленинградского университета, в 1950—1952 гг. Тогда это был стройный седой человек с лысиной

чуть не во весь череп. Над верхней губой он носил аккуратно подстриженные маленькие «чаплинские» усики. Его движения были легкими и отточенными. Он передвигался не спокойным шагом, а почти бегом; изящно раскланивался, изогнув левую руку калачиком, а правую отводя от груди вбок пластичным жестом, напоминавшим испанский поклон. Руки у него были небольшие, но сила в них была такая, что, говорят, когда он брал лошадь за уши, она присаживалась. Потом уже я узнал, что он одно время занимался джиу-джитсу, любил фехтование. Даже в больнице, незадолго до смерти, его рукопожатие сохраняло былую твердость.

В его внешности и поведении русские черты своеобразно сочетались с европейскими. И тип лица, и окающий волжский говор изобличали в нем костромского крестьянина; манеры же у него были очень светские, и в них проглядывало что-то иностранное. Мне рассказывали, что, когда вскоре по возвращении из Китая, в 30-х годах, он с веселой востоковедной компанией бродил по ночному Ленинграду, ему пришлось добывать спиртное в ресторане после закрытия: он постучал в дверь и, избравшая иностранца, на ломаном языке попросил продать, «как это по-русски, немножко водка»; лицедейство помогло, и ему продали. На моей памяти, в 50-х годах он элегантно одевался, носил широкополую стетсоновскую шляпу. Но с возрастом русского в нем становилось все больше. В 70-е годы он стал сдавать, обликом все сильнее походя на деревенского деда.

Итак, Борис Иванович зашел в аудиторию (он должен был вести у нас китайский) и начал знакомиться с группой. И, естественно, спросил, что мы знаем о Китае. Мы весело ответили, что ничего. Он не поверил, задал несколько вопросов, а затем написал на доске по памяти начало китайского «Троесловия», предложил перевести и убедился, что мы ответили честно. «Так что же вы умеете?» — спросил он нас с комическим ужасом. «Пить умеем», — ответил старший из нас. «А что вы пьете?» — «Всё. И вино и водку». — «А в чем разница?» Оказалось, что мы не можем объяснить и этого. Борис Иванович дал нам необходимые объяснения, а потом рассказал о том, что китайцы наладили производство смирновской водки, которая внешне отличалась от отечественной только деталью надписи на бутылке: «Завод Петра Смирнова у Чугунного моста» (вместо «Чугунного» на китайской бутылке стояло «Чугунноного»). Мы остались сидеть с разинутыми ртами. Больше в аудиторию он к нам не пришел и, вероятно, правильно сделал.

Я начал регулярно заниматься с Борисом Ивановичем древнекитайским языком на первом курсе аспирантуры (1955 г.). Читали главу 129 «Записей историка» (II—I вв. до н. э.) — о купцах. Для первого занятия я бодро подготовил довольно длинный текст. Борис Иванович меня выслушал, сказал, что переведено в основном правильно, а затем стал спрашивать о том или другом иероглифе и закончил словами: «Вы лучше пе-

реведите меньше, всего лишь строчку, но так, чтобы каждый знак был вам понятен: лишних здесь нет». Так он на всю жизнь научил меня, как подходить к тексту.

Моя кандидатская диссертация о «Записях историка» была написана под руководством Бориса Ивановича. В дальнейшем — и до самого последнего времени — он был тем экспертом, к которому я обращался во всех трудных случаях за профессиональной консультацией по вопросам китайской филологии, истории и философии. Особенно поражал меня Борис Иванович этнографическим знанием реалий китайской жизни, потрясающей памятью на все, некогда виденное в Китае. Даже каждое растение, фигурирующее в древнем тексте, он помнил зрительно, умел назвать его по-русски и по-латыни, внося ясность там, где словари обычно только путали дело; про каждую ткань умел объяснить, как и из чего она сделана. Бывало, сидишь рядом с ним, потрясенный, и только спрашиваешь: «Откуда вы это знаете? Ведь нигде же об этом не прочесть!» А он довольно улыбается. Случалось, хоть и крайне редко, что мне удавалось потом набрести на более удачный перевод, чем у него; надо сказать, что с Борисом Ивановичем спорить было можно, он это любил и никогда не настаивал на своем варианте из ложного чувства престижности. Нередко говорил «дайте подумать», а потом следовал исчерпывающий ответ.

Поражало, когда мы работали с ним над древним языком, что тысячелетний текст жил для него совершенно особой жизнью, иной, чем для кабинетного человека. За текстом для него стояла конкретная реальность, какая доступна лишь тому, кто не понаслышке знает жизнь Дальнего Востока. Помню, как мы говорили с ним о знаменитом стихотворении Ли Бо:

Перед постелью — сиянье светлой луны;
Кажется — это иней, выпавший на землю.
Поднимаю голову и гляжу на светлую луну;
Опускаю голову и вспоминаю родину.

У меня и в мыслях не было, что Ли Бо не лежит, а сидит на своей постели, пока Борис Иванович не сказал мне об этом. Видимо, я был заморожен словом «постель».

Другой пример: в начале 50-х годов, когда Борис Иванович просматривал, редактировал и рецензировал подстрочные переводы китайских стихов для восточной редакции Гослитиздата, ему в руки попало танское стихотворение, переведенное, кажется, его другом Г. О. Монзеллером. Борис Иванович отчеркнул строчку, где говорилось, что армия стала лагерем в таком-то месте. Его спросили, почему. «Этого не может быть, — отвечал он. — Там обрыв». — «Откуда вы знаете?» — «А я там был».

И при таком точном образном видении, при том, что он написал о Ли Бо в предисловии к сборнику переводов из этого великого китайского поэта, выполненных А. И. Гитовичем, и хорошо написал, Бориса Ивановича очень трудно назвать люби-

телем поэзии. Сам он однажды сказал, что к поэзии и музыке относится «без умиления». Может, он и увлекался стихами когда-то в молодости; во всяком случае, иногда он цитировал какого-нибудь поэта того времени, например, Северянина. Помню, несколько раз Борис Иванович также вспоминал стихотворение, начинавшееся словами «В армяке, с открытым воротом», о седом старике дяде Власе, который был великим грешником, а потом раскаялся, и другое, об атамане Кудяре. А для души не читал Борис Иванович ни стихов, ни другой беллетристики, предпочитая научную литературу, мемуары, научно-популярные работы. Еще развлекался детективами и любил перечитывать «Кима» Р. Киплинга. Тем не менее в классике начитан был необыкновенно и посмеивался над пробелами в образовании китаистов моего поколения. Иногда для удовольствия читал «что-нибудь божественное» (т. е. по буддизму), или медицинский древнекитайский трактат, или китайскую поваренную книгу, в которой гурман-чиновник, не ленившийся посылать своего повара в дома, где случалось ему вкусно поесть, собрал рецепты редких блюд. Видимо, к литературе Борис Иванович относился в первую очередь как к источнику сведений о жизни.

Что-то похожее было и в его отношении к изобразительному искусству. Он великолепно знал буддийскую иконографию, читал курс ее в Институте китайско-индийских исследований в Пекине (где работал с 1929 по 1935 г.). Ленинградским востоковедам памятно последнее публичное выступление Бориса Ивановича (1976 г.) в конференц-зале Ленинградского отделения Института этнографии АН СССР с докладом «О книге Л. Н. Гумилева „Старобурятская живопись“ (буддийская иконография)»; тогда учитель не только дал блестящую критику ошибок, которыми изобилует эта книга, но также по-новому определил и описал ряд буддийских икон из собрания Института этнографии.

Составил Борис Иванович и собственную ценную коллекцию буддийских икон, ныне находящуюся в Эрмитаже. Но занимался он иконами не как искусствовед, а скорее как буддолог. Это отражает подбор икон его коллекции. По словам специалистов из Эрмитажа, Борис Иванович собрал около трехсот изображений божеств пантеона тантрического буддизма, среди которых лишь несколько высокохудожественных. Основная ценность собрания не в них, а в редкой полноте подбора икон ремесленной работы, предназначавшихся для широких масс, в том, что по этой коллекции можно судить и о культах второстепенных, малоизвестных божеств, и о распространении ламаизма в Тибете, и даже о разной технике исполнения икон.

Сходно отзываются искусствоведы и о собранных Борисом Ивановичем предметах китайского искусства — религиозных «новогодних картинах», ксилографах с изображениями народных божеств, народных картинах, политических плакатах, живописных свитках. Этот изобразительный материал, за редкими исключениями (скажем, картины кисти знаменитого Ци Байши),

ценен в первую очередь не с эстетической, а с познавательной, историко-культурной точки зрения, как источник для изучения народной жизни и религии².

Мне запомнилась, пожалуй, только одна эстетическая оценка, высказанная Борисом Ивановичем (кроме свойственной ему забавной манеры сравнивать иногда «для понятности» то, чего я не видел, с тем, чего наверняка не увижу, например: «Владивосток почти так же красив, как Гонконг»). Эта оценка чем-то очень на него похожа, возможно, тем, что построена на соотношении искусства с действительностью. Когда Ю. Н. Рерих привез в Ленинград собрание картин отца, то по условиям того времени (конец 50-х годов) востоковеды, чтобы сказать «это хорошо», говорили «это реализм». А Борис Иванович уже без всяких задних мыслей подтверждал, что Рерих пишет Тибет и Памир такими, каковы они на самом деле, и объяснял этим краски его картин.

Как бы ни относился Борис Иванович к художественной литературе и живописи, но с писателями и художниками ему было интересно, — видимо, привлекало их особое знание жизни, не свойственное ему, человеку трезвого ума и рационального познания. А он, в свою очередь, был интересен людям литературы и искусства. Среди ленинградских востоковедов широко известна его дружба с А. И. Гитовичем, его встречи с А. А. Ахматовой. Менее известны отношения, связывавшие его с Н. К. Рерихом.

Познакомились они в 1927—1928 гг. Николай Константинович Рерих прибыл в Пекин с границ Тибета, куда попал, проехав по Монголии через Ургу. Художник хотел въехать в Тибет как 25-й князь Шамбалы, о котором говорили, что он придет с севера, принесет спасение всему миру и станет царем света. Носил он по этому случаю парадное ламское одеяние. Караван его чуть ли не из 70 верблюдов был организован его сыном Юрием. Около полугода прожил Н. К. Рерих в Анакчука на границе, послав паспорт в Лхасу и ожидая, когда далай-лама разрешит ему въехать в Тибет, но тот так и не разрешил.

Встречались Борис Иванович и Рерихи еще несколько раз, в частности когда те приезжали пропагандировать «пакт Рериха» (этот пакт об охране памятников культуры признали только панчен-лама и Либерия). Борис Иванович говорил о Николае Константиновиче как об интересном собеседнике, много видавшем и знающем человеке, но со склонностью к мистике, когда речь заходила о буддизме. Не без юмора вспоминал он, как останавливался караван по пути в Тибет, когда у жены Рериха, еще более мистически настроенной, чем сам художник, появлялось желание вступить в общение с духами. Для нее ставили столик, а по окончании общения караван снова трогался в путь.

Об этом я знаю от Бориса Ивановича, а сам являюсь свидетелем его дружбы только с А. И. Гитовичем, который относил-

ся к Борису Ивановичу благоговейно, как к носителю высшей мудрости, звал его «богом», писал ему стихи.

Литературные связи Бориса Ивановича возникли на почве совместной переводческой работы, благодаря тому содружеству востоковедов с писателями, которое сложилось в Ленинграде в начале 50-х годов. За свою долгую жизнь Борис Иванович отдал переводам очень много сил. Цена в переводческом деле точность передачи информации, он никогда не был сторонником дословных «дубовых» переводов (за что мне от него не раз попадало), а любил смысловой, как он выражался, французский перевод. И тут следует сказать о его знании языков.

Учитель был полиглотом, знал свыше 20, а может, и около 30 языков. По подсчетам одного близкого человека, он знал 27 языков, из них девять активно. Насколько мне известно, он совершенно свободно говорил на четырех восточных языках — китайском, монгольском, тибетском и маньчжурском. Кроме того, изучал китайские и монгольские диалекты и знал соответствующие классические языки; пятым иностранным языком, которым он владел в совершенстве, был английский. Это, конечно, не значит, что он говорил только на этих языках. Помню, например, что он отрицал свое хорошее знание французского, так как говорил на нем с бельгийским акцентом.

Борису Ивановичу много приходилось заниматься устным переводом, в частности на дипломатической работе. Иногда это требовало такого напряжения, что запоминалось на всю жизнь. Учитель рассказывал, что, находясь на службе в советском посольстве в Пекине в 1924—1935 гг. в качестве ученого специалиста по китайскому, монгольскому, тибетскому и английскому языкам, ему пришлось как-то переводить во время встречи, в которой участвовали и китайцы, и тибетцы, для одних на китайский, для других — на тибетский, для третьих — на английский; это была настолько сложная и напряженная работа, что через какое-то время он начал обращаться к тибетцам по-китайски, а к китайцам по-английски.

Про китайский Борис Иванович говорил, что он занимался по-настоящему его пекинским диалектом. С удовольствием слушая свободно льющуюся литературную китайскую речь своего друга профессора В. С. Колоколова, он тем не менее сам интересовался языком улицы, собирал и записывал все, к нему относящееся: и поговорки (сехоуэй), и пословицы, и ругательства, и крики продавцов и погонщиков, и язык детей (сяохаруй) — считалки, скороговорки и т. п., и приметы, и загадки, и песни нищих. Так складывалась его коллекция пекинского фольклора.

Борис Иванович любил вспоминать, на каком великолепном языке говорили в Пекине до нашествия, как он выражался, этих варваров с юга в 30-х годах; тогда по языку можно было определить, из какого района города говорящий. Он знал даже такие тонкости пекинского диалекта, как специфические слова и обороты, употреблявшиеся в окитаившихся маньчжурских семь-

ях в Пекине. Из современных писателей Борис Иванович особенно ценил пекинский язык Лао Шэ. А сам настолько хорошо говорил на пекинском диалекте, что китайцы только через четверть часа телефонного разговора узнавали, что говорят с иностранцем.

Не хуже китайского Борис Иванович знал и монгольский — язык первой восточной страны, где он побывал и куда систематически ездил года с 1912-го. Восточный институт во Владивостоке, где тогда учился Борис Иванович, требовал от студентов, чтобы те хоть раз за курс съездили в изучаемую страну, и оплачивал эти командировки. В первый год обучения Борис Иванович получил от института на поездку 100 рублей, сговорился со своим другом-монголом и на повозке отправился к нему в Баргу.

Однако не только практическое знакомство Бориса Иванoviча с Востоком началось с Монголии, но и в дальнейшем на протяжении всех его странствий монголы оставались для него самым близким из восточных народов. В Монголии он изучал их язык (а также тибетский и маньчжурский), их быт и культуру, кочевал с ними, сроднился с ними, живя их жизнью. Относился к нему как к своему; один старик звал его сыном. Борис Иванович немногословно вспоминал о том, что монгольская жизнь была нехитрая: бабы при коровах, мужики при конях. Приходилось ставить и снимать юрту, ездить в табун ловить коней. Были в этой кочевой жизни и свои опасности: как-то раз Борис Иванович подвергся нападению, но отбилсЯ; другой раз переправлялся на коне через вздувшуюся от дождей реку, его понесло течением, насилу выбрался; тогда-то он и поседел еще совсем молодым. То угроза исходила от болезни, то от сорвавшегося с привязи по весне верблюда. Бывало, что опасность существовала лишь в воображении монгольских друзей Бориса Иванoviча: однажды ему помешали выкупаться в пруду, опасаясь, что его утащит нечистая сила.

В 1914 г. Борис Иванович проехал с экспедицией по выявлению чумных районов через всю Восточную Монголию. В следующем году он изучал в Барге тамошний диалект одного из самых малоизвестных монгольских языков — дагурского. На основании собранных материалов он доказал в своей дипломной работе «Исследование языка дагуров, живущих в Барге» принадлежность этого языка к монгольской, а не к маньчжурской группе, как думали раньше. Орочоном, живущим в Хулунбуире, была посвящена первая статья Бориса Иванoviча, вышедшая в свет во Владивостоке в сборнике «Vivat Academia» в бытность его еще студентом (1915 г.).

В 1916—1917 гг. Борис Иванович изучал дагурский и ороchonский языки в бассейне р. Нонь. В студенческие годы и позднее, перед революцией, он также жил в Монголии, в буддийском монастыре, будучи учеником ламы Джамцарана, которыйставлял его в буддизме. В 1921—1928 гг. он снова живет в бас-

сейне р. Нонь и гостит в Чахаре (верст 200—250 от Калгана) у своего друга, бывшего помощника калганского военного губернатора времен династии Цин по имени Хан Цзиньшоу, большого знатока монгольской жизни. Там он общается еще с двумя бывшими цзун-гуанями (главными управляющими), т. е. начальниками хошунов, по рангу равными князьям, которые хорошо знали эту жизнь, быт, язык.

В результате своих поездок Борис Иванович собрал большой материал по восточномонгольскому диалекту Чахар. В 30-е годы он взялся за подведение итогов изучения дагурского языка и написал исследование на основании собранных ранее материалов.

Когда в 1935 г. монголист с такой подготовкой приехал в Ленинград и поступил в Институт востоковедения, неудивительно, что ему досталась одна из важнейших ролей в составлении и редактировании текста большого «Монголо-русского словаря ИВ АН СССР», ибо, по словам В. М. Алексеева, он обладал «ресурсами, каких его товарищи по составлению могли и не иметь».

Глубокое знание китайского и монгольского языков, их истории, их диалектов, истории и культуры их носителей позволило Борису Ивановичу взяться за выполнение особо сложных работ по переводу и интерпретации памятников, возникших на стыке этих языков, — «Секретной истории монголов» («Юань чао би ши») и китайско-монгольских словарей и документов XIV—XVII вв. Первый том его «Секретной истории монголов» вышел при жизни Бориса Ивановича (1962 г.). Хочется надеяться, что будет издан и выполненный им перевод этого памятника.

На примере обеих этих работ можно указать на особую черту научного дарования Бориса Ивановича: это вкус к комплексным исследованиям. Уж если он брался за старый монгольский текст, то непременно записанный средствами китайской иероглифики, прочтение которого требовало знания того, как произносились монгольские слова и китайские иероглифы, их транскрибирующие, многие сотни лет тому назад. Благодаря вкусу к таким исследованиям и своим возможностям полиглота Борис Иванович смог выступить блестящим комментатором «Сборника летописей» Рашид ад-Дина (1952 г.), где требовалось восстановление монгольских, тюркских, китайских и иных имен и названий.

Эта особенность дарования сочеталась с другой: у Бориса Ивановича как ученого был ярко выраженный интерес к дешифровке трудных или вовсе загадочных текстов. Он занимался китайскими надписями на гадательных костях эпохи Инь и на бронзовых сосудах эпохи Чжоу, тангутской, киданьской и чжурчжэньской письменностью; можно сказать, пробовал себя во всем, что требовало широких комплексных познаний, высокой способности комбинировать различные сведения, доступные лишь ему. Учитель любил решать такие текстовые загадки.

Говоря о языках, которые знал Борис Иванович, нельзя обойти и его родной язык — русский. Я бы сказал, что у Бориса Ивановича счастливо соединялись редкое богатство лексики, достойное народного писателя, с глубокими лингвистическими познаниями о родном языке, подкрепленными его дарованием полиглота. Тут, несомненно, сыграло роль то, что человек он был народный, из крестьянской семьи, сам себя сделавший, благодаря таланту и трудолюбию поднявшийся до высот рафинированной европейской культуры. Семья была религиозная, мать возила сына по всем богомолям Средней России. Во время этих поездок и в своей родной Костроме Борис Иванович узнал тот язык и ту жизнь, которые нам уже недоступны — они ушли в прошлое. Герои анекдотов, которые иногда вспоминал Борис Иванович, — это слепцы и нищенки страннической России, старики-купцы и молодые их жены, персонажи мира волжских городов, описанного В. А. Гиляровским. Да и среди товарищей Бориса Ивановича по владивостокскому Восточному институту были такие, что поставили себе задачу — жениться на богатой купчихе. И все богатство языка этого мира, и все реалии его жизни откладывались в памяти любопытного будущего востоковеда.

В глубокой старости, когда ему стало трудно много читать из-за ухудшающегося зрения, он стал развлекаться новой игрой по телефону, которую сам выдумал, вспоминая занятные русские слова и предлагая мне определить их значение и указать этимологию. Так, он спрашивал меня: «Что такое шабашка?» Этимологию я еще мог указать — от древнееврейского «шабат» — «суббота», но дальше пасовал. Оказывается, «шабашкой» (помимо свободного времени) называлось полено, в которое плотник, окончив недельную работу (пошабашив), загонял топор, чтобы унести на плече домой и отдать на дрова хозяйке, у которой стояла плотничья артель. Почему муж называется «благочестивый», а жена «благочестивая»? Потому что так именовались в церкви царь и царица, а отсюда — иронически — так стали называть вообще мужа и жену. Или почему в Средней Азии пельмени называются манты? — От названия китайских пампушек, приготовленных на пару, — маньтоу. Или — любимый вопрос — что значит «мы с братаном по елани сундалой хлынули»? Сейчас редко какой сибиряк знает, что это значит «мы с двоюродным братом ехали по равнине трусцой на одной лошади».

Иногда во время этой игры Борис Иванович давал собственные этимологии, да у меня не хватало ума записывать.

Присущая Борису Ивановичу способность остро осознавать образное представление, связанное со словом, его этимологию могла бы, по всей вероятности, показаться идеальной А. А. Потемне. Вспоминается такой эпизод. Я советовался с учителем, как перевести китайское сочетание «те цин» («железный сосуд для варки соли»), и спросил, нельзя ли употребить слово «чан».

«Только не „чан“», — ответил Борис Иванович, скривив губы. «Почему, собственно?» — «Да ведь „чан“ — это „дщан“, как же можно назвать этим словом железный предмет?»

Борис Иванович поражал не только профессиональными познаниями, но и тем, что, казалось, он знал все и очень многое умел. Еще в Костроме параллельно с учебой в реальном училище он окончил техническую школу, где получил подготовку химика. В дальнейшем он обогатил эти знания, дополнил их профессиональным знанием фотографии, восточной бумаги, переплетного дела; поэтому он и сумел создать в Ленинградском отделении Института востоковедения АН СССР знаменитую на весь Советский Союз лабораторию реставрации и консервации восточных рукописей, приобрести для нее оборудование, подобрать и воспитать кадры, завести традиции работы, которые поддерживаются до сих пор. Руки имел золотые, был высококвалифицированным токарем.

Знал он медицину — в фельдшерских пределах, понимал и в восточной медицине. Когда-то он лечил настоятеля какого-то монастыря в Китае по-европейски, а тот в благодарность объяснял Борису Ивановичу свою науку. Помню, когда я в первый раз пришел домой к учителю (это было в середине 50-х годов), он отложил какую-то книгу и сказал мне: «Знаете, что это такое? Это самый старый медицинский трактат в Китае. Только что кончил его читать. Теперь, пожалуй, пора класть на бумагу». Боюсь, что из этого намерения ничего не вышло. Но толковый медицинский совет Борис Иванович вполне мог дать, и некоторые знакомые охотно пользовались этими советами, в особенности А. А. Быков, известный арабист и нумизмат из Эрмитажа, который «лечился» у Бориса Ивановича «по телефону». Но он, как говорится, уважал Бориса Ивановича не только за это: получал у него высококвалифицированные консультации по нумизматике, в которой Борис Иванович отлично разбирался, как, впрочем, и во всей материальной культуре Востока.

Знал, любил и собирал Борис Иванович книгу — и восточную, и европейскую. В его великолепном знании китайской книги я имел возможность убедиться в особенности, когда работал в группе, составлявшей каталог фонда китайских ксилографов ЛО ИВ АН СССР (примерно в 1962—1966 гг.). Если мы ни по каким справочникам не могли определить ту или иную книгу, я отправлялся с нею к Борису Ивановичу; и не было случая, чтобы он не сказал, что это такое и «с чем его едят». Только раз, помню, он дал непонятное объяснение: ксилограф оказался руководством по какой-то редкой китайской игре, а по какой — не знал даже Борис Иванович.

Он собрал, наверное, одну из лучших востоковедных частных библиотек страны, охватившую богатый диапазон его интересов; она содержала ценнейшую подборку синологической, тибетологической, маньчжуроведческой, монголистической, индологической литературы, книги по лингвистике (в частности, по

алтайскому языкознанию), по буддологии, по истории религии, включала редкие издания и ксилографы и даже рукописи на языках Дальнего Востока. Помню, Борис Иванович говорил, что его «библиотека маньчжуриста» объемлет треть всех изданных на маньчжурском языке ксилографов. История собирания этой библиотеки, вероятно, целая эпопея, которая никогда не будет написана. Если в Китае в бытность там Бориса Ивановича выходила малым тиражом стоящая книга, то часто хотя бы один экземпляр оказывался у него. Такой книгой было отдельное издание иллюстраций к дворцовому экземпляру романа «Цветок сливы в золотом кувшине». Когда один из китайских военачальников (вероятно, Фэн Юйсян в 1924 г.) захватил Пекин и изгнал бывшего императора Пу И из дворца, к нему явилась депутация генералов и попросила посмотреть императорское издание романа на один день. Тому пришлось согласиться. За этот день было организовано отдельное издание эротических иллюстраций к книге, которая попала в руки генералам; всего было отпечатано 100 экземпляров. Один из них достал Борис Иванович; теперь этот экземпляр хранится в ЛО ИВ АН СССР.

Еще при жизни, в середине 70-х годов, Борис Иванович продал часть своей коллекции в Синологическую библиотеку ИНИОН (Москва); в настоящее время там сосредоточены почти все книги по Китаю и все по Маньчжурии из собрания Бориса Ивановича. Остальные приобрел Институт общественных наук Бурятского филиала Сибирского отделения АН СССР (Улан-Удэ); это соответствует воле Бориса Ивановича, желавшего, чтобы в этот институт, где работают его ученицы, пошли нужные им для работы книги по тибетологии, индологии и буддологии из его собрания.

Борис Иванович был страстным коллекционером, и собирал он не только книги да образцы тибетского, китайского и маньчжурского изобразительного искусства и каллиграфии, о чем отчасти уже говорилось. После его смерти Эрмитаж приобрел также коллекцию небольших старинных бронзовых печаток, две официальные печати XIV и XVIII вв., две верительные посольские грамоты 1747 г., старую гирию времен династии Мин (XIV—XVII вв.) или даже Юань (XIII—XIV вв.) и четыре бумажные ассигнации из Харахото (XIII и XIV вв.). Все это либо редкие, либо уникальные вещи. Помню, была у него еще одна диковинка — придворный костюм китайского чиновника, сшитый на него лично бывшим придворным портным в Пекине. Как-то Борис Иванович по просьбе домашних нарядился в этот костюм — в памяти у меня остались черная ткань, расшитая золотом, шапочка с красными шариками. Не знаю, какова судьба этого костюма.

Как и многие коллекционеры, Борис Иванович психологически не мог расстаться с тем, что он собрал. Испытывая материальную нужду в середине 60-х годов, он гнал от себя мысль о продаже своих библиотечных богатств, говорил, что прода-

вать книги — последнее дело. Только когда его зрение ухудшилось и окрепло сознание, что ряд книг ему уже никогда не понадобится, он восьмидесятилетним стариком решился расстаться с частью библиотеки.

Рассказывать о Борисе Ивановиче можно до бесконечности; не стоит и пытаться втиснуть все воспоминания о нем в одну статью. В заключение я хочу напомнить о некоторых человеческих качествах моего учителя, который для меня, как и для многих, является образцом джентльмена, «благородного мужа» — цзюнь-цзы. Это был настоящий русский интеллигент. Духовная элита в России веками формировалась таким образом, что в нее вливались, обогащая ее, талантливые люди из народа, Ломоносовы. Так пришел в русскую интеллигенцию и Борис Иванович Панкратов. Те черты, которые воспринимаются как классические для русского интеллигента, были и его чертами. Это открытость ко всему чужому, непредвзятость ума, желание и умение понять, неустанное стремление к познанию нового — будь то духовный или материальный мир Востока или новые методы в науке. Человек он был по-народному цельный, всегда оставался самим собой, но, думаю, с англичанином он был англичанин, с китайцем — китаец, с монголом — монгол. Немного-слонный и не склонный к душевным излияниям, он располагал к откровенности, выслушивал человека с сочувственным пониманием и старался помочь ему, если мог. Полное отсутствие карьеризма и честолюбия, скромность до самозабвения сочетались в нем со знанием себе цены. Он готов был служить другим, если чувствовал, что нужен им, тут он готов был отдавать свои знания без конца. Но если он чувствовал, что не нужен, он уходил. Думаю, что ему ведома была радость бескорыстной щедрости, свойственная богато одаренным натурам. И он не был обижен людьми: до самого последнего времени они все шли к нему, новые и новые люди, за знаниями, руководством и мудростью, давая и ему твердое сознание осмысленности жизни. Последняя работа, которой он руководил, была закончена меньше чем за год до его смерти, а консультации его продолжались до последних месяцев жизни.

Мне довелось в полной мере на собственном опыте убедиться в духовной щедрости Бориса Ивановича. Его отношение ко мне описывают два слова. Первое из них — *учитель*. Я часто так называл его, обращаясь к нему, а он как-то подарил мне книгу на память «от сян-шэна» (учителя по-китайски). Напомню, что ученики академика Н. И. Конрада называли его тем же словом, произнося его на японский манер — «сэнсэй». У этого слова более емкое значение, чем у слова «преподаватель», в нем есть оттенок, раскрывающийся в сочетании «учитель жизни». Второе слово, описывающее отношение Бориса Ивановича ко мне, — *друг*. Борис Иванович был надежным и верным другом тем людям, которые были ему близки. Мне приходилось видеть его в тяжелые периоды жизни, когда на нем лежало неподъем-

ное бремя ухода за безнадежно больным родным человеком. Он нес это бремя без единой жалобы, мужественно принимая удары судьбы. Чего-чего, а мужества у него хватало на десятерых.

Наука была его способом существования. Он шел в ней своим, трудным и бескомпромиссным путем, путем поиска истины, не замутненным никакими привходящими соображениями. Тут он был беспощаден к себе и строг к другим, презирая халтуру и недобросовестность, призывая «поганой метлой» гнать носителей этих качеств. Он создал для своих учеников и коллег образец высокой принципиальности, который, надеюсь, никогда не потускнеет.

Была в нем еще одна черта — глубокий и действенный патриотизм. Вся его жизнь была служением своей стране, которую он по-настоящему любил, что не мешало трезвости его оценок. Квасным патриотом он никогда не был. Помню, он рассказывал мне, как его чуть не побили ура-патриоты в начале первой мировой войны, когда он скептически отозвался о способности империи ее вести. Но он желал своей стране процветания и славы и работал для этого с бесстрашием и самопожертвованием.

Когда человеку столько лет, сколько было ему, он не может не задумываться о смерти. Отношение к смерти у Бориса Ивановича было в чем-то народное, крестьянское. Когда в 60-х годах ему было непосильно тяжело и казалось, что организм может не выдержать, он однажды сказал мне: «Надобно распорядиться». И распорядился, дав мне ряд поручений на случай, если с ним что-нибудь произойдет. Я принял их, но посоветовал ему гнать от себя такие настроения. В ответ он сказал: «Юра, я готов. Но я бы еще пожил». Умирать, считал он, надо дома. Ему это не было дано. Когда он последний раз заболел, он очень скоро почувствовал, что из больницы ему не выйти. И назвал мне книги, которые он обещал библиотеке ЛО ИВ АН СССР, объяснил, где стоят. «На всякий случай», — как он выразился. Потом он пытался обеспечить дальнейшую научную работу своих последних учеников — значит, знал, к чему идет. Когда я видел его последний раз вечером 27 августа 1979 г., я уже с трудом понимал его речь. Он произнес длинную фразу, где несколько раз упоминалось слово «сметь» (смерть). Я не понял этой фразы. И тогда он отчетливо сказал: «Ничего особенного. Ничего особенного — это я говорю о смете». Это были его последние сказанные мне слова, которые я запомнил. Через 30 часов он умер.

Я знал этого замечательного человека 28 лет его очень длинной и очень богатой жизни. О том, что было до того, мне известны лишь внешние, анкетные данные, да рассказы его и других, иногда самые невероятные. Вдруг в своих мемуарах индийский дипломат Кришна Менон вспомнит о встрече с Борисом Ивановичем Панкратовым в буддийском монастыре, где тот пел монгольские песни. Или английский буддолог У. Кларк сообщает, что сотрудник Института китайско-индийских исследова-

ний Панкратов указал на важность какого-то тибетского ксилографа XVIII в. для исследования пантеона буддийских божеств. Или выяснится, что Борис Иванович учил монгольскому языку видного немецкого тюрколога А. фон Габэн. Или в разговоре всплывет, что он был членом английского клуба, жил в миссионерском доме в Шанхае, или — единственный из европейцев — состоял в каком-то тайном даосском обществе, или «пил водку» на свадьбе у последнего китайского императора Пу И.

Я хочу сказать, что это был человек-легенда, жизни которого по-настоящему мы не знаем и не узнаем. Потому нам так ценны и интересны свидетельства очевидцев этой прошлой жизни Бориса Ивановича. Одному из них, выдающемуся американскому китаисту и монголисту Оуэну Латтимору, мне и хочется предоставить слово, заканчивая эту статью. Вот что писал мне старый друг Бориса Ивановича профессор О. Латтимор 8 января 1980 г.:

«Впервые я познакомился с Борисом Ивановичем в Пекине в начале 30-х годов. В то время он был уже ученым с очень солидными познаниями, тогда как я — всего лишь начинающим монголистом. Так я сразу узнал одну из выдающихся черт его характера — доброту к начинающим и к людям, знавшим гораздо меньше его. Он всегда считал, что знания высокого специалиста не должны быть монополией немногих привилегированных лиц, а что их следует распространять как можно шире. Я вскоре узнал также, как сильно им восхищались и как сильно ему доверяли монголы Внутренней Монголии. 30-е годы были ужасным временем для этих монголов, когда китайские военачальники сгоняли их с их земли, чтобы поселить китайских колонистов, а японские военные авантюристы рыскали вокруг в поисках добычи. Некоторые монгольские князья и высокопоставленные ламы предавали свой народ, оберегая собственные интересы, но незначительное их число отважно защищало монгольские интересы, и кое-кто из более молодых людей начал смотреть на Монгольскую Народную Республику как на единственную надежду для монгольской свободы. Самые разные монголы приходили, чтобы спросить Бориса Ивановича о том, что происходит в мире, и он всегда был абсолютно честен в своих ответах; честен, а также смел, потому что были люди, готовые пустить слух, что он „против китайцев“ или „против японцев“. Но Борис Иванович был человек, для которого жить значило быть честным и бесстрашным.

В те годы он рассказал мне кое-что о своей юности и о том, что ему довелось испытать смолodu. Я повидал его снова в Ленинграде в 1936 г., после его возвращения в Советский Союз, и он с энтузиазмом говорил мне, как он счастлив, что он на родине, и какое большое удовольствие он получает от своей работы. Мы просидели за беседой далеко за полночь.

Последний раз я видел Бориса Ивановича во время

XXV Международного конгресса востоковедов в Москве в 1960 г. Опять мы засиделись до глубокой ночи, рассказывая истории и вспоминая былые дни, обсуждая будущую работу и планы исследования и подогревая беседу обильными порциями его любимого армянского коньяка. Это воспоминание, которое останется у меня навсегда, — о его научной любознательности (помню, как он рассказал мне, что использовал время выздоровления, чтобы добавить корейский к списку известных ему языков); о непредвзятости ума, щедрости духа; откровенности и честности; скромности в сочетании с бесстрашием. Я горжусь тем, что когда я говорю монгольскому другу: „Да, я знал Панкрата“, между нами тотчас же возникает связь».

Науку делают личности. Их знания, их идеи составляют ее богатство, а сами они, являя образцы поведения, оказывают профессиональное и нравственное влияние на окружающих. Мне кажется, что память о таких людях ценна сама по себе и принадлежит истории науки. Принадлежит ей и память об одном из самых ярких востоковедов нашего времени — Борисе Ивановиче Панкратове.

¹ Возможно, это был египтолог Ф. Рюккерт.

² Пользуюсь случаем, чтобы поблагодарить Ж. Л. Рудову (Пчелину) и Г. А. Леонова за сведения о коллекциях Б. И. Панкрата, приобретенных Эрмитажем.